

Пролог. Полгода и два дня до того, как я стану невидимкой

Самое смешное, что я никогда не боялась постареть. Молодость не настолько меня баловала, чтобы я всерьез печалилась из-за ее утраты. Женщины, скрывающие свой возраст, всегда казались мне пустышками, которые верят в невозможное. Впрочем, и мне тщеславие не чуждо, и хотя я понимала, что дерматологи правы и дешевый водянистый крем ничуть не хуже, чем эликсиры молодости в шикарной упаковке, все равно покупала дорогие увлажняющие лосьоны. Если угодно, для подстраховки. Деньги у меня водились, я прекрасно разбиралась в жизни и всего-навсего хотела выглядеть хорошо для своего возраста — а уж для какого именно, не суть важно. По крайней мере, так я себе говорила. А годы шли.

Я полжизни занимаюсь рынками ценных бумаг. Это моя профессия. И мне было ясно: курс моей

сексуальной валюты стремительно падает и рухнет окончательно, если мне не удастся его укрепить. Некогда гордая и небесперспективная корпорация “Кейт Редди” боролась с теми, кто всеми правдами и неправдами пытался лишить ее былой привлекательности. Масла в огонь подливало и то, что об этой борьбе мне каждый день напоминал растущий рынок в самой захлавленной из комнат дома. Женские акции моей дочери-подростка росли, мои же обесценивались. Так задумала мать-природа, и я искренне гордилась красавицей-дочкой, но порой утрата прежних позиций причиняла острую боль. Например, как в то утро, когда в метро на Кольцевой мы встретились взглядами с парнем, у которого была роскошная растрепанная шевелюра, как у Роджера Федерера (бывает ли прекраснее?); клянусь, между нами проскочила искра, затрещало электричество, в воздухе повисло предвкушение флирта, как вдруг парень уступил мне место. Не дал свой номер телефона, а уступил место.

“Полный облом”, — сказала бы Эмили. Он даже не счел меня достойной интереса, и это саднило, как пощечина. Увы, но пылкая юная особа, которая по-прежнему живет во мне и которая подумала, что “Роджер” с ней флиртует, до сих пор не смирилась с этим. Она все еще видит в зеркале собственного воображения себя прежнюю, когда смотрит на других, и делает вывод, что и другие видят ее такой. Она до сих пор по-дурацки и совершенно напрасно уверена, что может понравиться “Роджеру”, которому на вид чуть больше тридцати, потому что не осознает, что у нее — да у всех нас — расплывается талия, атрофируется слизистая влагалища (кто бы мог поду-

мать, да?), а луковицы первоцветов и удобная обувь вызывают куда больший энтузиазм, чем моднучие стринги “Агент Провокатор”, от которых все чешется. Наверное, эротический радар “Роджера” засек мои практичные трусы телесного цвета.

При этом все у меня было прекрасно. Нет, правда. Я благополучно миновала разлившееся на дороге масло, то бишь сорокалетний рубеж. И пусть меня чуть-чуть повело, но я вошла в занос, как учили инструкторы, все выровнялось, дела пошли отлично и даже еще лучше. Меня сопровождала святая троица зрелости: хороший муж, уютный дом, чудесные дети.

А потом посыпалось одно за другим. Муж лишился работы, решил отныне жить в гармонии со своим внутренним далай-ламой и целых два года не будет зарабатывать ничего, поскольку переучивается на психолога (вот радость-то!). Детей накрыла буря пубертата в то самое время, как их бабушки-дедушки, деликатно выражаясь, впали в детство. Свекровь стащила чью-то кредитку и купила цепную пилу. Согласна, звучит забавно, но мне было не до смеха. Мама перенесла инфаркт, потом упала и повредила бедро. Я боялась, что теряю рассудок, но, скорее всего, он прятался там же, где ключи от машины, очки для чтения и серьга. И еще те билеты на концерт.

В марте мне стукнет пятьдесят. Нет, отмечать не буду, и да, я действительно не готова признаться себе, что боюсь или как минимум волнуюсь, — сама толком не понимаю, каково мне, но в целом неуютно. Если уж начистоту, я бы и не вспоминала о возрасте, но круглые даты — те самые, огромные тисненные

цифры которых красуются на открытках, как на указательных столбах вдоль дороги к смерти, — не дают о нем забыть. Пусть говорят, что пятьдесят — это новые сорок, но на рынке труда (моем уж точно) пятьдесят — все равно что шестьдесят, семьдесят или восемьдесят. И мне в срочном порядке нужно не стареть, а молодеть. Вопрос жизни и смерти: найти работу, ухватиться за место под солнцем, по-прежнему пользоваться спросом, и чтобы срок годности не истек. Шоу должно продолжаться любой ценой, а наш корабль — бороться с волной. Чтобы помогать тем, кто, похоже, теперь нуждается во мне как никогда, необходимо повернуть время вспять, ну или хотя бы заставить эту сволочь замереть.

Учитывая все сказанное, подготовка к моему полувековому юбилею будет скромной и совершенно заурядной. Я ничем не выдам охватившей меня паники. Я невозмутимо и плавно подберусь к этой дате — никаких больше неожиданных поворотов и кочек на дороге.

По крайней мере, так я планировала. Пока меня не разбудила Эмили.

1. Бешеное белфи

Сентябрь

Понедельник, 01:37

Дурацкий сон. Эмили плачет, да еще так горько-горько. Что-то про белку. Якобы какой-то парень хочет прийти к нам домой посмотреть на ее белку. А Эмили твердит: прости, это ошибка, я не нарочно. В общем, странно. Если мне в последнее время и снятся кошмары, то больше о том, как на моем дне рождения, о котором нельзя упоминать, я вдруг превратилась в невидимку: пытаюсь с кем-то заговорить, а меня не видят и не слышат.

— Но ведь у нас нет никакой белки, — возражаю я, и стоит произнести это вслух, как я понимаю, что проснулась.

Надо мной склонилась Эмили — так, словно молится или пытается прикрыть рану.

— Только папе не говори, — умоляет она. — Он не должен ничего знать.

— Чего не говорить?

Я вслепую шарю по тумбочке возле кровати, неловкая рука нащупывает очки для чтения, очки для дали, банку увлажняющего крема и три упаковки таблеток, прежде чем мне удастся найти телефон. В белесом металлическом свете экранчика я вижу на

дочери карамельно-розовые трусики “Виктория Секрет” и топик, который я сдуру согласилась ей купить после очередного безобразного скандала.

— Что случилось? Чего папе не говорить?

Даже не глядя на Ричарда, я понимаю, что он так и не проснулся. Я слышу, что он спит. С каждым годом брака муж мой храпит все громче. Если двадцать лет назад он сопел и похрюкивал, как поросенок, то теперь каждую ночь исполняет симфонию матерого кабана с участием духовых. Порой крещендо достигает такой силы, что Рич, вздрогнув, просыпается, переворачивается на другой бок и повторяет симфонию с первого такта.

Вообще же разбудить его труднее, чем святого с надгробия. Дар избирательной ночной глухоты открылся у Ричарда, когда Эмили была младенцем, так что именно мне приходилось вставать по два-три раза на ее плач, поправлять одеяло, менять подгузник, успокаивать, убаюкивать, чтобы потом еще раз выполнить ту же епитимью. К сожалению, материнский эхолокатор не оборудован выключателем.

— Ну мам. — Эмили умоляюще стискивает мое запястье.

Я как под кайфом. Тем более что в самом деле приняла таблетку. Перед сном выпила антигистаминное, потому что часто просыпаюсь между двумя и тремя часами ночи, обливаясь потом, а с таблеткой хоть сплю до утра. Таблетка подействовала, причем даже слишком хорошо, так что теперь никаким мыслям не пробиться сквозь запекающуюся корку сна. Тело мое не желает шевелиться. К рукам и ногам словно гири привязали.

— Мааааам, ну пожалуйста.

Господи, за что мне это, в мои-то годы?

— Сейчас, милая, минутку. Уже иду.

Я вылезаю из постели — ноги как деревянные, совершенно не желают сгибаться, — одной рукой обнимаю дочь за худенькие плечи, второй щупаю ей лоб. Температуры нет, но лицо мокрое от слез. Она так ревела, что даже топик промок. Я ощущаю эту сырость — смесь теплой кожи и печали — сквозь свою хлопковую ночнушку и вздрагиваю. В темноте чмокаю Эм в лоб, но натыкаюсь губами на нос. Эмили уже выше меня. И каждый раз, как я ее вижу, у меня уходит несколько секунд на то, чтобы приспособиться к этой перемене. Я рада, что она выше меня, в мире женщин высокий рост и длинные ноги — огромное преимущество. Но еще я была бы рада, если бы ей сейчас было годика четыре, чтобы она была совсем крохой и я взяла бы ее на руки и укрыла от всех невзгод.

— Что случилось? У тебя месячные начались?

Она мотает головой, и я чувствую запах своего кондиционера для волос, того самого, дорогущего, который я ей строго-настрога запретила трогать.

— Нет, я накосыаячила. Он написал, что сейчас приедет. — И Эмили снова начинает рыдать.

— Не бойся, милая. Все в порядке, — успокаиваю я Эм и веду к дверям, ориентируясь на полоску света из коридора. — Что бы ни случилось, мы все исправим, я тебе клянусь. Все будет хорошо.

02:11

— Ты. Отправила. Фото. Своей голой задницы. Парню. Или парням. С которыми даже не знакома?

Эмили сокрушенно кивает. Она сидит на своем месте за кухонным столом с телефоном в одной руке и кружкой с Гомером Симпсоном, который произносит свое коронное “Д’оу!”; Эмили пьет горячее молоко, я же вдыхаю запах зеленого чая и жалею, что у меня в кружке не скотч. Или цианид. *Думай, Кейт, ДУМАЙ.*

Беда в том, что я даже не понимаю, чего именно не понимаю. Мы с Эмили как будто говорим на разных языках. Нет, у меня есть страничка на фейсбуке, я участвую в семейном чате в ватсапе, который завели для нас дети, и даже раз восемь писала в твиттер (один раз — после пары бокалов вина, что-то про Пашу из “Танцев со звездами”, до сих пор неловко), остальные же социальные сети как-то прошли мимо. И до этой самой минуты домашние мило подшучивали над моим незнанием. “Вы что, из прошлого? — повторяли нараспев Эмили с Беном, подражая ирландскому акценту героя их любимого сериала*. — Мам, ты что, из прошлого?”

Они недоумевали, почему я годами упрямо храню верность первому своему мобильнику — крошечному куску серо-зеленой пластмассы, который уж если вибрировал, то казалось, будто у меня в кармане мечется мышонок. Набирая на нем эсэмэску (не то чтобы я каждый час кому-то отправляла сообщения, но все же), приходилось попотеть: чтобы на экране появилась буква, нужно было долго давить на клавишу. На каждой кнопке было по три буквы. Слово “привет” я набирала минут по двадцать. Экран

* Речь о сериале “Айтишники” (IT Crowd). — Здесь и далее примеч. перев.

с ноготок, зато и заряжать мобильник надо всего раз в неделю. Дети прозвали его “мамин флинстоуновский* телефон”. Меня их насмешки не задевали, я им даже подыгрывала, словно спокойная раскованная родительница, которой я, разумеется, никогда не была и не буду. Я даже гордилась, что эти существа, которых я произвела на свет и которые совсем недавно были беспомощными крохами, теперь так здорово во всем разбираются, аж зависть берет, и так ловко владеют этим новым языком, который для меня китайская грамота. Наверное, мне казалось, что для Эмили и Бена это безобидный способ почувствовать превосходство над мамой, которая вечно пытается все контролировать, но я надеялась, что при этом они все же понимают: в главном — например, когда речь заходит о безопасности и приличиях — решающее слово остается за мной.

Увы, нет. Как же я ошибалась. За полчаса, что мы сидели за столом на кухне, Эмили, икая от слез, призналась, что послала подруге, Лиззи Ноулз, фотографию собственной голой задницы в снэпчате, потому что Лиззи сказала Эм, что девочки из группы хотят сравнить, кто на каникулах сильнее загорел.

— Что такое снэпчат?

— Ну там типа фотка исчезает через десять секунд.

— Отлично. Значит, она исчезла. И из-за чего тогда шум?

— Лиззи сделала снимок экрана в снэпчате, хотела отправить в групповой чат на фейсбуке, но по

* “Флинстоуны” — мультсериал о жизни семейства из каменного века.

ошибке повесила его к себе на стену, и теперь он там фиг знает сколько висеть будет.

“Фиг” — любимое словечко Эмили, с этим корнем она образует любые слова — “дофига”, “пофигу”, а последнее порой сокращает до “пофиг”, которое я и вовсе слышать не могу.

— Фиг знает сколько, — повторяет Эмили, и при мысли об этой непрошенной неувыдаемой славе округляет губы — ни дать ни взять воздушный шарик горя.

Я не сразу перевожу на понятный мне язык то, что она сказала. Возможно, я ошибаюсь (хорошо бы!), но, насколько я поняла, моя любимая дочь сфотографировала собственную голую задницу. А потом благодаря магии социальных сетей и злобной выходке некоей девицы этот снимок распространился — если я правильно выразилась, но боюсь, что правильно, — по всей школе, улице, вселенной. Его видели все до единого, кроме отца, который сейчас наверху храпит за Англию.

— Все очень смеялись, — продолжает Эмили, — потому что я тогда в Греции обгорела и спина до сих пор красная, а задница белая, так что похоже на флаг. Лиззи говорит, что пыталась удалить фотку, но народ ею уже поделился.

— Тише, дорогая, успокойся, не тараторь так. Когда это случилось?

— Кажется, в полвосьмого, но я заметила недавно. Ты же мне сама за ужином велела убрать телефон, помнишь? На снимке вверху экрана стояло мое имя, и теперь все знают, что это я. Лиззи говорит, что пыталась снести фотку, но она уже разлетелась по инету. А Лиззи такая: “Да ладно тебе, Эм, чего ты,